

18+

Юрий Меркеев

Монастырь и кошка

Сборник рассказов, повестей, эссе

Юрий Меркеев

**Монастырь и кошка. Сборник
рассказов, повестей, эссе**

«Издательские решения»

Меркеев Ю.

Монастырь и кошка. Сборник рассказов, повестей, эссе /
Ю. Меркеев — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-746422-6

Сборник повестей и рассказов разных лет. Все они объединены идеей возможности обрести счастье. Даже падая, человек имеет возможность преобразиться через покаяние, то есть изменение себя. Трудная эта работа... очень. Есть среди рассказов легкие, весенние, любовные. Есть похожие на детектив. В этом сборнике мой дебютный рассказ «Не доверяй никому» (публ. в 1998 году в журнале «Нижний Новгород»). В этом же сборнике более зрелая повесть «Две полурыбки» (публ. в 2015 году в журнале «Новая Литература»).

ISBN 978-5-44-746422-6

© Меркеев Ю.
© Издательские решения

Содержание

Черный квадрат Чаликова	6
Маша Луговая	18
Одна из десяти жизней	22
Блошиная редакция	27
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Монастырь и кошка

Сборник рассказов, повестей, эссе

Юрий Меркеев

© Юрий Меркеев, 2021

ISBN 978-5-4474-6422-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Черный квадрат Чаликова рассказ

Подоспела черная полоса в жизни художника Чаликова к самому, казалось бы, плодоносящему возрасту мужчины и творца – к тридцать третьему году жизни, десять из которых Чаликов честно посвятил музе. Подоспела эта полоса и как-то быстро и незаметно изъела его душу изнутри, как это бывает с красивым снаружи яблоком, испорченным червями.

Не отличался Сергей Иванович никогда твердостью характера, терпением, и стоило только на российских просторах загулять заморским буйным ветрам горбачевской «перестройки» и ельцинского лихолетья, как Чаликова вместе со многими талантливыми, но слабыми душевно собратиями по искусству закрутила жизнь, разметала по разным «тараканьим» углам, хмельным закоулочкам, забирая у него большими кусками то, что казалось ему бесплатным подарком от бога в вечное чаликовское пользование.

В ельцинские времена, когда среди всеобщего обнищания стали вдруг появляться весьма состоятельные и мало интеллигентные сограждане, прозванные в просторечье «малиновыми пиджаками», Чаликов еще кое-как держался на поверхности жизни, барахтаясь своими слабенькими ручонками и цепляясь, буквально говоря, за мертвецов – разукрашивал по ночам в морге лица покойников, в основном – жен богатых бандитов, политиков и коммерсантов. От страха пил с патологоанатомом медицинский спирт, и, пока в Чаликове еще оставалась капля творческого авантюризма, воображал себя не продажным художником, а древнеегипетским жрецом, вступившим в тайный сговор с богом Анубисом для того, чтобы с достоинством фараонов провозжать помиравших соотечественников в вечность. На самом же деле в морг он попал по протекции одного спившегося художника и согласился подрабатывать там от нищеты.

Более крепкие, наглые и молодые его коллеги вытеснили Чаликова с Большой Покровской, где он с легкостью умелого портретиста в десять – пятнадцать минут переносил угольными карандашами лица заказчиков на бумагу. В первый раз к нему подошли накаченные молодые люди с плоскими как у боксеров лицами и вежливо попросили уступить место другому художнику. Во второй раз они же встретили его в темной подворотне, слегка потрепали его и предупредили, что, если он не уйдет с Покровки, они сломают ему сначала правую руку, рабочую, а если не поможет, отправят его туда, откуда еще никто не возвращался. Чаликов все понял и устроился на время пятимесячного запоя знакомого художника в морг «трупным косметологом – кутюрье».

Чуть позже пробовал он себя и в кузнечном деле, изготавливал ручной работы кованые железные розы – прихоть богатых заказчиков, – и фамильные гербы, но скоро кузницы наполнились крепкими выносливыми деревенскими парнями, которые, точно роботы, без усталости шлепали конвейерным способом по одним и тем же незатейливым эскизам металлические заборы и решетки на окна для особняков новых богачей. Востребована стала грубая физическая сила, которой у Чаликова никогда не было, а не художественный талант, который всегда был.

И стал от такой жизни Чаликов пить. Пил долго, зло, со страданиями, свойственными утонченным натурам; заводил сомнительных друзей, которые терпеливо выслушивали жалобы на жестокую жизнь, а потом пропадали, а вместе с ними почему-то исчезали из бедной квартиры Чаликова бронзовые подсвечники, алюминиевые кастрюли, тазы, даже ложки с вилками; улетали ковры – остатки былого безбедного существования; последним вместе со случайными знакомыми ушел старичок – телевизор «Чайка», который уж и так на ладан дышал. Зачем он мог понадобиться кому-то, Чаликов ума не мог приложить. И тогда в опустевшей квартире

художника поселилась нищета, о которой раньше он знал лишь умозрительно – из рассказов Горького, Чехова, Бунина.

Ничего не осталось у Чаликова, кроме изъеденной злой нуждой совести. И то немного, благородное, что еще как-то отличало его от опустившихся пьяниц, стало потихоньку сходить на «нет». Ознаменовал в материальном смысле его окончательное падение флакончик «Тройного» одеколona, который был найден непохмеленным трясущимся Чаликовым на полочке в прихожей около треснутого зеркала. Прежде чем выпить его, Чаликов посмотрел на свое больное, распавшееся на две половинки отражение, и заключил, что жизнь его дала трещину, которую трудно чем-то заклеить, заретушировать, замазать, загрунтовать. Треснутое зеркальное лицо Чаликова отражало рубец в его душе. Он вылил содержимое пузырька одеколona в стакан, горестно ухмыльнулся, чокнулся со своим отражением и залпом без закуски выпил, после чего почти сутки его обожженное нутро извергало запахи цветочной оранжереи.

А потом Чаликов стал по утрам тщательно бриться, расчесывать волосы и повязывать ворот рубашки галстуком, но делал это вовсе не из желания хотя бы внешне выглядеть интеллигентом. Так ему было проще обманывать библиотекарей и воровать книжки. Продавал он их на рынке за бесценок лоточникам – мясникам, грубым, наглым, ощутившим себя вдруг хозяевами жизни, любившим посмотреть на чужое унижение, особенно если унижался какой-либо худосочный интеллигент вроде Чаликова. Они знали, что он – бывший художник, а значит, человек не их круга. И потому пресмыкание Чаликова было им особенно приятно. Они относились к нему, как к цирковой собачке, которая была готова ради кусочка мяса прыгать пред ними на задних лапках, развлекать, сносить плевки и побои. К слову сказать, настоящих собак, которые забегали на рынок в поисках кормежки, мясники почему-то баловали, кидали им кусочки отборного мяса, особенно если торговля шла бойко. Они будто бы показывали сами себе, что они – люди не жадные. Однако, людей – попрошайек они презирали. Бывало, что худенькая старушка, дрожащими руками пересчитывающая у них на глазах последнюю мелочь, просила уступить ей подешевле какую-нибудь требуху, а мясники, смеясь, отгоняли ее, будто она была не человеком, а какой-нибудь назойливой мухой. Такие были времена, такие нравы!

А однажды Чаликов увидел сцену расправы над молодым пареньком, наркоманом, который пытался обмануть мясников поддельной милицейской корочкой и уже успел собрать с некоторых лотков мясную дань, как вдруг одна из краснолицых торговек узнала в «милиционере» своего соседа – наркомана. Поднялся крик, гам, мясники плотным кольцом обступили худосочного паренька, рубщик Григорий схватил обманщика за тонкие плечи, а другие мясники стали бить его кулаками в лицо. Чаликову были слышны хлесткие удары, голова бедняги отлетала в сторону при каждом шлепке, у мясников появился азарт, и скоро лицо наркомана превратилось в кровавое месиво. Кровь была кругом – на заляпанных фартуках лоточников, на лице наркомана, на кулаках мясников, на полу, повсюду. А паренек, видимо, от шока, вцепился в пакет с кусками отборного мяса, собранного, якобы, для милиции, и не отпускал его, пока мясники его дружно лупили. От этой жестокой сцены у Чаликова закружилась голова, и он поспешил уйти с рынка, так и не узнав, чем закончилась эта кровавая разборка. Потрясение Чаликова от этой сцены было так велико, что несколько ночей подряд его потом мучили кошмары: ему мерещилось, что его загнали в какой-то гигантский черный квадрат, из которого нет выхода, и что во всех углах этого квадрата скрывались люди, похожие на рыночных мясников. Они считали себя хозяевами жизни, хозяевами черного квадрата, и того, кто случайно попадал в него, они старательно унижали, окунали в самую черноту и жестоко издевались, как над тем худосочным юношей – наркоманом, который пытался их обмануть. Вся его худая неприкаянная жизнь стала казаться Чаликову огромным черным квадратом, из которого он никак не мог найти выхода.

Бедный, бедный Чаликов! Некому было в ту пору его вразумить, поддержать, настроить на иной, более терпеливый и добрый взгляд жизни. И он продолжал воровать книги и библио-

тек, борясь со стыдом и страхом, но благодаря тому же стыду и страху не решаясь совершать кражи более опасные и дерзкие.

По утрам он приводил себя в порядок перед треснутым зеркалом, надевал широкий отцовский плащ и отправлялся в одну из пяти районных библиотек города, в которые он специально записался для своего воровского промысла. Две – три книжечки он записывал в библиотечную карточку, а пять или шесть книг выносил под плащом, утыкая их за кожаный ремешок штанов вокруг талии, делая его похожим на пояс шахида. Хорошо, что отец и мать Чаликова не дожили до позорных дней сына, иначе умирание их было бы безутешным. Родители не успели застать горбачевскую перестройку и умерли с уверенностью в блестящем будущем страны и молодого живописца Сергея.

Для того, чтобы библиотекари (чаще всего – молодые девушки) не подозревали его в кражах, он записывал в формуляре профессию «художник», а в графе «место работы» всегда ставил «реставратор православных церквей». Под запись Чаликов обычно отбирал книги по искусству, – уж в этом он разбирался хорошо, – а для мясников воровал красочно оформленные любовные романы, детективы и классику: Толстого, Гоголя, Достоевского и др. Мясники любили пофорсить перед спившимся интеллигентом своими познаниями в литературе, показать ему, что и они, мол, не лыком шиты, и разбираются в русской классике не хуже, чем в мясе. «Великих и прославленных» они брали не скупясь. Первую и семнадцатую страницы с библиотечными штампами Чаликов всегда удалял, однако никто из мясников и не подозревал о том, что книги, приносимые Чаликовым на продажу, были библиотечные. Как правило, никто из них и не заглядывал внутрь книг. Покупали по сути дела обложки с фамилиями великих. Однажды Чаликов, не сумев ничего украсть из библиотеки, нашел простой выход: вложил в обложку из-под «Войны и мира» работы Маркса и Энгельса, аккуратно подклеил корешок и благополучно сбыв мяснику Анатолию как полную версию знаменитого романа Льва Николаевича Толстого. И сколько раз после этого Чаликов ни заходил к мясникам, Анатолий продолжал общаться с ним как обычно; стало быть, Анатолий поставил купленную книгу в доме на полку, и никто из его семьи ее ни разу не открывал. И, возможно, никогда не откроет. Таким нехитрым способом Чаликов мстил мясникам за свое унижение, за поруганное достоинство и уязвленную честь.

Однажды Чаликов набил свой «пояс шахида» томами крупными и тяжелыми, как кирпичи, и, подходя к столу библиотекаря Вари с двумя брошюрками по японскому искусству, испугался вдруг, что она заметит его неестественно располневший торс, и, обильно потея и покрываясь густой краской стыда, заставил себя улыбнуться и, стараясь держаться естественно и даже немного фамильярно, заговорил первое, что пришло ему в голову:

– Знаете, Варенька, хоть я и работаю реставратором в церкви, но всегда уважал японскую живопись. Увидеть в малом большое – это великое искусство. Особенно мне нравится стиль «дзуйхицу». – Руки у него дрожали, когда он расписывался за книги в карточке. – В переводе с японского это означает «следуя за кистью», – продолжал он заговаривать зубы библиотекарю, стараясь не встречаться с ней взглядом. – Это очень хороший стиль. Просто берешь в руки кисть и выражаешь свое настроение. Да... Наше настроение – это целая гамма различных цветов.

Варя, как показалось Чаликову, пристально вглядывалась в его лицо, краснеющее с каждой секундой все больше и больше. Вот-вот спросит его: «А какое же сейчас у вас настроение, Чаликов? Багрово – красное? Отчего это?»

Однако девушка сказала:

– Сергей Иванович, вы очень интересный человек. Знаете, сейчас мало кто ходит в библиотеку. Люди перестают интересоваться книгами. У всех на уме одни деньги. Да вот кто-то еще повадился книжки у нас воровать. Представляете?

– Мда... – Чаликов почувствовал, как у него пылают уши. Провалиться бы сейчас сквозь землю! Пот градом тек по его лицу. Ему показалось, что Варя уже давно догадывается, кто тот подлец, который ворует книги, и только оттягивает обвинение, решив прежде помучить его.

– Сергей Иванович, – окликнула она стоящего в оцепенении Чаликова.

– Да? – выдавил он из себя.

– По мнению всех наших коллег и, особенно, заведующей Нины Федоровны, вы...

– Да?! – испуганно вскрикнул Чаликов.

– Вы самый читающий человек района. Поэтому мы решили пригласить вас, как нашего постоянного читателя и интересного человека, на юбилейный вечер библиотеки. Мы бы хотели, чтобы вы выступили перед детской аудиторией с небольшой лекцией на тему «За что я люблю книги?». Потом будет чаепитие и шампанское для своих.

Чаликов был ни жив, ни мертв. «Пояс шахида» тянул его к земле с такой силой, что, казалось, еще минута, и Чаликов рухнет, словно подкошенный, прямо под стол библиотекаря.

– Ну что же вы молчите? – спросила Варя. – У вас много работы?

Чаликов в отчаянии взглянул на девушку.

– Да, да, у меня... оч-чень много раб-боты, – запинаясь, ответил он. – Заказали новый иконостас в Рождественском храме, потом нужно расписывать Царские Врата. Работы много.

– Ну что ж, может быть, тогда в другой раз?

– Да. В другой раз обязательно приду и прочту лекцию. Обязательно.

Чаликов вышел из библиотеки едва живой. И тут же направился к самогонщикам просить в долг бутылку. Оправившись от нервного потрясения, он подумал: «Не зря в народе говорят, что на воре и шапка горит. Точно. Уши пылают как фитили».

...А через неделю Чаликова поймали с поличным в другой библиотеке – томик Достоевского, сунутый «лучшим читателем района» за пазуху, выскользнул из-под ремня и с шумом треснулся на пол. Когда вызвали милицию, и оперативный работник увез Чаликова в отдел, ему стало легче от того, что мучения его прекратились. Однако... Увы, нравственное падение Чаликова продолжилось – уже в кабинете Василия, оперативного работника, который после нарисованных Чаликову картин его унижительной жизни в зоне, неожиданно предложил помощь – в обмен на согласие стать агентом Василия.

– Кражу мы тебе эту простим, – ласково вещал перед потерявшим всякую волю мыслить Чаликовым крепкий Василий с хитрым и умным лицом. – Будешь один раз в месяц приходить на конспиративную квартиру и докладывать мне обо всем, что услышишь от друзей – алкоголиков. Ясно? Кто что украл, кто задумал что украсть и так далее. За это я буду расплачиваться с тобой когда деньгами, когда спиртным.

Оперативник нырнул под стол и вытащил оттуда бутылку «Пшеничной».

– Пей, – сказал он, наливая водку в стакан. – Водка паленая, но неплохая. У меня для хороших агентов водка всегда есть. Усек?

Чаликов вяло кивнул и выпил. Затем Василий попросил его расписаться в какой-то бумажке и выдал Чаликову сто рублей.

– Твой агентурный псевдоним будет... м-м... Рафаэль. Ты же художник? Никто о наших отношениях знать не должен. А то, сам знаешь, уголовники такое не прощают. Сделают из тебя мадонну. Василий громко захохотал над своей шуткой.

Чаликову хотелось плакать. И хотелось домой. Он робко указал глазами на початую бутылку.

– Можно это с собой забрать?

– Молодец, – похвалил его оперативник. – Это по-нашему. Бери бутылку и иди домой. О нашем разговоре – никому, даже Господу Богу. В библиотеках больше не появляйся. Чаше появляйся в притонах, на пятаках, прислушивайся, приглядывайся. Будешь хорошо работать, нужды знать не будешь. На мелочевке попадешься, отмажу. Запомни: моя фамилия Пригожин,

оперуполномоченный уголовного розыска. Василий Пригожин. Будут проблемы, позвонишь, Рафаэль...

Чаликов жалобно взглянул на милиционера.

– Ну, ладно, ладно. Иди домой. Намучился, знать, с непривычки. Все мы люди. Понимаю я тебя, брат. Нынче время не для таких как ты. Пропадешь, если не научишься кусаться. Хочешь, совет дам? Никогда ни перед кем не пресмыкайся. Народ сейчас злой. Слабого не пожалеют. А пресмыкающегося будут топтать. Извини, брат, за такую примитивную психологию. Дальше будет еще хуже.

Чаликов поблагодарил милиционера за помощь и вышел. Отныне он стал не просто мелким воришкой Чаликовым, спивающимся от нужды и нечистой совести. Отныне он стал Рафаэлем, человеком без имени и без воли, рабом, клейменым печатью иудиного ремесла. Он стал половой тряпкой, о которую всякий, более сильный и наглый, мог вытереть грязную обувь.

И жизнь Сергея Ивановича, и без того непутевая, превратилась в сущий ад. Он продолжал пить, и теперь его пьянки раз от раза становились все отчаяннее и горше, потому как заливать вином приходилось новые муки еще не омертвевшей окончательно совести – муки иудиных доносов, вознаграждаемых не тридцатью сребрениками, а конфискованной у самогонщиков водкой, которую он выпивал вместе с теми, на которых тайно доносил. Черный квадрат всасывал Чаликова все глубже в свою гнилостную трясику, душил его, призывая смириться с адом, отравлял, казнил его ежечасно за отсутствие самоуважения.

Однажды, блуждая без всякой цели по улицам города, он случайно столкнулся со своим старым знакомым, с которым когда-то учился в художественной академии. Чаликов помнил, как они вместе с другими молодыми бородачами пили крепкий чай и до утра спорили в мастерской о высоком предназначении художника в этом огрубевшем мире, разговаривали о вечном. Чаликов хотел проскочить незамеченным мимо Ильи Первакова, стесняясь своего опустившегося вида: неряшливого костюма, трясущихся рук, красных слезящихся глаз, стесняясь своей нищеты, бросающейся в глаза всякому встречному. Но тот окликнул его сам, и первый подошел к Чаликову. Перваков был одет в импозантный дорогой костюм и выглядел весьма респектабельно.

– Привет, дружище, – сердечно приветствовал он Чаликова, словно не замечая его стеснения. – Часто вспоминаю тебя, наши беседы. Куда ты пропал, дружище? На вечере выпускников тебя не было, телефон не отвечает.

Чаликов краснел и мялся, испытывая озноб от утреннего похмелья, а Перваков внимательно вглядывался в лицо друга. Наконец, поняв его положение, он достал из кармана бумажник, вытащил тысячную купюру и попросил «без обиды» принять от него эти деньги, не беспокоясь о возврате долга. Потом сунул ошарашенному Чаликову свою визитку и попросил навестить его на службе, тем более что Перваков хотел предложить приятелю «денежный и полезный для души» заказ. Более он не сказал Чаликову ни слова и удалился, напомнив напоследок о хорошем заказе.

Чаликов долго, словно в оцепенении держал тысячную купюру и визитку, потом как будто очнулся, спрятал деньги в карман и прочитал то, что было выведено золотым тиснением на карточке: «Настоятель храма во имя Жен – Мироносиц. Иерей Илья Перваков».

«Так вот оно что! Он стал священником. Невероятно. Как же я пойду в храм со всем тем кошмаром, что творится в душе? – подумал Чаликов. – А заказ? Быть может, это что-то действительно денежное и полезное для души? Разве в наше время такое возможно? Чтобы и денежное и полезное для души одновременно. Господи, как я соскучился по настоящей работе!» – прошептал Чаликов, и вдруг слезы выступили у него на глазах. Прохожие, проплывавшие мимо него словно в тумане, с удивлением смотрели на стоявшего посередине улицы плачущего, неряшливо одетого мужчину, похожего на бомжа.

С тысячей Чаликов поступил так же неразумно, как и со всеми остальными деньгами, которые приходили к нему в виде подачек. Он пропил и проел ее с дворовыми пьяницами за два дня. Хвалился перед ними визитной карточкой с золотым тиснением; утверждал, что жизнь его скоро изменится весьма круто, что его старый приятель Перваков, а ныне настоятель храма отец Илия не оставит его в беде и подбросит заказ на реставрационные работы в церкви; врал, что ему, Чаликову, ничего не стоит завязать со спиртным, что он со своим талантом еще покажет всем, на что способен его гений. Дворовые алкаши, большинство из которых были простыми работягами, не разбиравшимися ни в искусстве, ни в церковной жизни, пили водку Чаликова, ели его закуску, и ничего не понимая из пафосной похвальбы художника, одобрительно мычали и дружно кивали головами. Чаликов не был человеком их круга, они чувствовали это нутром, однако в отличие от зажиточных мясников с рынка не унижали бывшего интеллигента, не куражились над ним, а молча слушали его побасенки, как в сказке о лягушке – путешественнице бывалые жабы слушали завравшуюся в похвальбе, влюбленную в себя лягушку. Не раз битые жизнью, дворовые пьяницы были уверены в том, что нечего мечтать о свободном полете птиц тому, кто родился и жил в болоте. Однако никто из них не решался опустить на землю размечтавшегося вралю, потому как Чаликов был хозяином водки, которую они вкушали.

Но когда водка закончилась, один из старых дворовых алкоголиков по прозвищу Дед, лысый однурукий старик с сизым опухшим лицом и шрамом на шее, которого остальные дворовые побаивались и уважали (видимо за то, что Дед двадцать пять лет провел за колючей проволокой), положил Чаликову на плечо свою тяжелую ладонь и тихо сказал на прощание:

– Ты, парниша, это... Бога-то не хули. Труби на своей дудочке, а Бога в свою трепотню не впутывай. Худо будет. Ты не думай, что водкой своей паленой ты нас купил. Тьфу на нее, на водку эту! А за Бога с тебя спросить могут. Запомни, парниша! Это тебе Дед говорит.

И Чаликов в очередной раз почувствовал, как об него смачно вытерли грязную обувь.

Раз в месяц агента Рафаэля на конспиративной квартире поджидал оперативник. Чаликов рассказывал ему о том, что происходит в среде безработных, бездомных бродяг, с которыми ему доводилось поговорить «за жизнь», иногда присочинял что-нибудь из того, чем особенно интересовался милиционер, а когда заканчивал очередное агентурное донесение, жалобно смотрел на целлофановый пакет, стоявший у ног оперативника. Однако, прежде чем выдать Рафаэлю агентурный паек, Василий всегда подолгу пристально вглядывался в лицо Чаликова, будто пытался обнаружить в нем какую-то значенную тайну, потом обычно хмурился и говорил:

– Плохо работаешь, Рафаэль. Тебе с художественными дарованиями уже давно пора влиться в банду, торгующую краденными иконами, а ты мне все о бомжах да о бомжах. Церкви сейчас бомбят, особенно в области. Здесь где-то скупают. Нюхай, Рафаэль, ищи. Надоело тебя поить дармовой водкой. Ее ведь, брат, заработать надо.

Чаликов обещал «нюхать и искать», спешно принимал паек, расписывался в каких-то бумагах и торопился в свою неухоженную холостяцкую берлогу гасить водкой приступы раскаяния от мерзкого иудиного ремесла.

Провалившись с воровством книг, добывать деньги на регулярную выпивку и хоть какую-то закуску становилось все труднее и труднее. Как-то раз Чаликов собрал по сусекам остатки масляных красок, нашел в кладовой немного мутно – желтого лака, отпилил от старой шифоньерки квадрат величиною с икону, поставил перед собой полинявший бумажный образок Богородицы, сложившей в умилении руки, написал на доске некое подобие иконы, полачил ее, и, не дождавшись, пока лак просохнет, побежал на рынок к мясникам.

Он прошел со своей картиной по всем рядам, однако мясники к подобной живописи были равнодушны. «Вот ежели б ты настоящую старинную икону принес, это другое дело», – гово-

рили они. Одна только старушка – покупательница, видимо, пожалев Чаликова, а возможно, и образ Богородицы, явившейся в месте, где пахло мясом и кровью, забрала у Чаликова картину, сунув ему тридцать рублей. «Хоть бы тридцать пять дала», – мрачно подумал художник, в очередной раз с болью в сердце вспоминая тридцать сребреников, полученных Иудой за продажу Иисуса Христа.

Мясник Анатолий, заметив, что картину у Чаликова купили, подозвал его к своему лотку:

– Вот, – сказал он, вытаскивая из-под прилавка репродукцию картины «Тайная вечеря». – Нам такого добра знаешь сколько каждый день предлагают? Эту наркоман упросил за червонец взять. Так куда ж я ее повешу? Над свинными головами?

Потом сощурил один глаз и предложил:

– Ты бы мне ее красками подновил, сделал бы похожую на настоящую, я б ее хоть на даче повесил. У меня как раз в столовой место свободное есть. Тут же ведь они едят. Значит, в столовой к месту будет.

– Подновлю, – ухватился за деловое предложение мясника Чаликов. – Сделаю в лучшем виде. Я ж в свое время таких работ...

– Ты, чай, авансу запросишь, – перебил его Анатолий. – А сам запьешь. Я вашего брата знаю.

– Не запью, Анатолий Иванович, не запью. Крест даю, что не запью. Просто краски нужно кое-какие купить. Работы тут много.

– Ну, ладно, – смягчился Анатолий, небрежно шаря огромной волосатой рукой в кармане забрызганного кровью халата. – Даю тебе сотню. Забирай картину. Но чтоб на следующей неделе был как штык. Обманешь, – хищно улыбнулся он, – я тебя на шашлык пушу.

Чаликов схватил сотенную купюру, репродукцию «Тайной вечери» и, довольный хоть таким заказом, выскочил из душного помещения мясного павильона на улицу.

Он купил по дороге домой бутылку разведенного спирта в «шинке», вошел в квартиру в приподнятом настроении, ибо любой заказ для художника, особенно находящегося в положении Чаликова – это уже событие; поставил картину на стол, посмотрел на нее оценивающе (в том смысле, сколько красок уйдет на холст) и сильно расстроился. На картине было тринадцать героев, тринадцать лиц, двенадцать апостолов и Иисус Христос, и на каждого нужно было известить столько краски, сколько у Чаликова уже не было. Из всего, что он наскреб по сусекам, у него оставалась баночка эскизного масла красного цвета и малый набор наполовину истощенных тюбиков с масляными красками. «Если выполнять заказ аккуратно, на совесть, – подумал Чаликов, – пройдет не меньше недели упорного труда, а мясник в лучшем случае заплатит мне еще сотню. А если покупать новые краски, так я еще и в накладе останусь».

Но делать нечего. Чаликов обещал выполнить эту работу к следующей неделе и похвалился с дуру, что таких заказов в свое время переделал множество. «Мда... Язык мой – враг мой».

Чаликов решил приступить к работе без промедления. Только сначала, подумал он, необходимо успокоить нервы спиртным.

Водка оказалась прескверная. От нее пахло не то растворителем, не то ацетоном. Выпив стакан, Чаликов стал хмелеть как-то странно: сначала ему ударило в голову, а затем тяжелая волна опустилась к ногам. В глазах зарябило, комната неожиданно качнулась как люлька, и Чаликов выпал из нее, как выпадает из коляски оставленный без присмотра любопытный ребенок. Очнувшись Чаликов лежащим на полу. Рези в глазах усилились; было ощущение, будто кто-то сыпанул ему в лицо песком или накануне он долго смотрел на электросварку. Пошатываясь, Чаликов поднялся и отправился в ванную промыть глаза холодной водой. Ему вспомнились рассказы дворовых пьяниц о недобросовестных шинкарях, которые делают водку из стеклоочистителя, и что от этой водки многие ослепли, а кое-кто ушел на тот свет.

Когда рези в глазах немного ослабли, Чаликов повыдавливал на палитру из тюбиков краски, часть из них смешал, добываясь телесного цвета, взял в руки кисть и вдруг растерялся, не зная, с кого из апостолов начать. Какой-то внутренний голос подсказал ему, что начать он должен с лица Иуды, и Чаликов почему-то согласился. Однако, стоило ему прикоснуться кистью к картине, как началось что-то невообразимое: какая-то новая обжигающая волна поднялась изнутри и ударила по глазам с такой силой, что постепенно «Тайная вечеря» стала темнеть, темнеть начала и комната и все, на что испуганно глядел художник. Наконец, черный квадрат из его кошмаров поглотил все вокруг. Чаликов вслепую нащупал диван, присел на него и зарыдал как ребенок.

Потом он собрался с силами, постучался к соседке и попросил ее срочно вызвать скорую помощь.

– Теть Валь, – едва ворочая разбухшим сухим языком, пробормотал Чаликов. – Я, кажется, ослеп.

...В токсикологическом центре областной больницы Чаликова продержали семь дней. Ему ставили капельницы, кололи какие-то препараты, поили вонючей жидкостью и заставляли промывать желудок, – словом, делали все возможное для того, чтобы отвоевать у отравленного организма хоть немного здоровья. В палате рядом с Чаликовым лежали такие же бедолаги, как он – жертвы дешевой водки. За то время, пока он лежал в больнице, от острого отравления денатуратом скончалось трое мужчин.

Чаликову повезло больше: его не только поставили на ноги за неделю, но и отвоевали зрение. «В рубашке родился», – говорили ему врачи и медсестры, а старая санитарка тетя Галя прибавляла: «Знать, за тебя кто-то крепко молится. Когда одной ногой побывал там, ангел смерти дарит тебе еще два глаза. Чтоб разобрался, непутевый, в своей жизни».

Вернувшись домой, Чаликов первым делом взялся за исполнение заказа. Однако, со зрением его творилось что-то неладное. Все окружавшие его предметы он видел весьма отчетливо, но стоило ему бросить взгляд на «Тайную вечерю», как вместо картины он видел черный квадрат. Такой же черный квадрат, только меньшего размера, был и на месте бумажной репродукции иконы «Умиление». Все остальное, что попадалось в поле его зрения, выглядело вполне обычно. Чаликов с силой сжимал глаза, растирал их руками, ставил холодные примочки из ваты, увлажненной в чайной заварке, однако все это было напрасно: черный квадрат продолжал закрывать от него и «Тайную вечерю», и лик Пресвятой Богородицы.

Ему снова сделалось страшно от того, что черный квадрат из его кошмаров словно перешел в реальность, и начал по-новому преследовать его весьма странным явлением частичной, осколочной слепоты.

Утром следующего дня Чаликов отправился в районную поликлинику на прием ко врачу – офтальмологу. Седовласый глазник по фамилии Бортник внимательно выслушал Чаликова, посмотрел в его глаза с помощью какой-то светящейся трубки, затем сообщил о том, что внешне глаза у Чаликова совершенно здоровы.

– Обратитесь-ка вы, дружок, к хорошему психиатру, – посоветовал Наум Борисович. – Но только к очень хорошему. К очень! А знаете ли вы, дружок, что такое очень хороший психиатр? Это тот, которому нужно заплатить очень много денег. – Наум Борисович скользнул взглядом по скромной одежде Чаликова. – Нет, – сказал он, – к психиатру вы, пожалуй, не ходите. На хорошего у вас денег все равно нет, а плохой возьмется лечить вас бесплатно. А что такое лечить бесплатно, я вам расскажу. Мой шурин, тоже художник, до своего отъезда в Израиль заметил странную особенность зрения: некоторые предметы он стал видеть в четырехмерном пространстве. Он, конечно, испугался и, не имея хороших денег, пошел к бесплатному психиатру. Это было еще во времена Союза. Не долго думая, психиатр направил беднягу в психушку, из которой мой шурин вышел настоящим антисоветчиком и диссидентом. Однажды в каком-то журнале он увидел знаменитую картину Пабло Пикассо «Скрипка»,

которую тот увидел в четырехмерном пространстве. Что же вы думаете? Мой шурин прозрел и понял, что он гениальный художник, такой же как Пабло Пикассо. Он стал ругать психиатров и рваться за границу. И снова угодил в психушку. Теперь Семен Маркович живет в Тельавиве и пишет все, что он увидел в психиатрической больнице... Пишет на холсте, конечно, в четырехмерном пространстве. Его картины пользуются большим спросом у русских эмигрантов. Они видят в его полотнах самих себя.

– Простите, Наум Борисович, но я не совсем понял, к кому мне обратиться за советом?

Бортник на минуту задумался, потом поднял вверх палец и загадочным шепотом произнес:

– Когда у человека нет денег, он обращается за советом к священнику.

– К священнику? – переспросил Чаликов и вдруг вспомнил о встрече с Ильей Перваковым. – Я, кажется, знаю, к какому священнику мне нужно идти.

...За то время, пока Чаликов лежал в токсикологическом центре, у него исчезли некоторые внешние признаки хронического алкоголика: уже не тряслись руки, не слезились глаза, не было заискивающих повадок. Нельзя сказать, что у него пропало желание выпить, – стаж его пьянства был велик, – однако страх пережитого ослепления и появившееся неизвестно откуда странное бельмо в глазах в виде черных квадратов, заставил Чаликова на время совершенно позабыть о вине.

Прямо от доктора он отправился на улицу Ковалихинскую, где располагался храм во имя Жен – Мироносиц, настоятелем которого был отец Илия.

Стояла середина августа. Только что миновал медовый спас, и отец Илия все свободное от служб время занимался обновлением внутреннего убранства церкви, стараясь успеть к началу нового церковного года, который, как известно, наступает с сентября.

Все реставрационные работы отец Илия делал сам – сам изготавливал леса и забирался по ним под самый купол церкви, сам обновлял настенные росписи; сам резал по дереву обрамление иконостаса; сам по крупицам восстанавливал старинные Царские Врата.

Когда в церковь вошел Чаликов, отец Илия стоял в центре храма в рабочем халате художника и готовился подняться по лесам к куполу церкви. Заметив Чаликова, отец Илия очень обрадовался и пригласил Сергея осмотреть храм. На лице у Чаликова появилось трагическое выражение, ибо он оказался в царстве больших и маленьких черных квадратов, зияющих по всему периметру и, как вампиры, высасывающих энергию у художника. Бледный, испуганный, он подошел к Первакову и попросил его увести в какой-нибудь кабинет. Отец Илия повел его в домик причта, где находился скромный кабинетик настоятеля, и по дороге Чаликов вкратце рассказал ему обо всем: о кражах книг из библиотек города, об агенте с художественным псевдонимом Рафаэль, о поддельной водке и, наконец, о своей осколочной слепоте.

– Офтальмолог просветил мне глаза и сказал, что физически они не повреждены. Вероятно, это психическое, но он отсоветовал мне обращаться к психиатру. Направил в храм, к священнику. Что же мне делать, Илья? – воскликнул Чаликов. – Этот черный квадрат скоро проглотит меня как трясина.

– Черный квадрат, – задумчиво проговорил Перваков. – Черный квадрат... дело в том, что «Черный квадрат» Малевича – это, своего рода, антиикона, философия пустоты и абсурда, символ антихриста. По воспоминаниям Бенуа, хорошо знавшего Малевича, тот частенько ставил свою картину в красном углу избы, там, где обычно стоят православные иконы. Поэтому я не удивляюсь, что тебе стали являться символы антиискусства.

– Но что же мне делать? – в нетерпении перебил его Чаликов. – Может быть, ты знаешь какого-нибудь старца, который изгонит из меня этих бесов?

Отец Илия строго посмотрел на друга.

– Зачем тебе старец, если ты все понимаешь сам? Могу я съездить с утра в Макарьевский монастырь к отцу Варсонофию, поговорить с ним о тебе, но боюсь, что без твоей собственной

душевной работы у тебя ничего не получится. Даже если за тебя помолится бывший художник, а ныне иконописец и монах отец Варсонофий. Доходили до меня сведения, что к нему обращались за советом самые известные художники России, но вот кому и как он помог, это остается тайной.

Отец Илия посмотрел на поникшего друга и решил подбодрить его.

– Ладно, – сказал он. – Не унывай. Навещу я отца Варсонофия завтра утром, а ты приходи в церковь часам к десяти вечера, не раньше. Не успею обернуться. А ночью постарайся припомнить все свои грехи за последние годы, которые мучают тебя до сих пор, попостись до воскресенья, я тебя исповедаю и причащу. А завтра не забудь подойти в церковь, но не раньше десяти вечера.

– Как же я смогу забыть? С таким бельмом на глазах – растерялся Чаликов. – Приду, Илья. Ты только поговори со старцем. Может быть, чем-то поможет?

– Помогают не старцы, а Бог, Который через них действует, – вздохнул отец Илия. – Ты поменьше думай о старцах, а больше – о своей душе.

На этом они расстались. Отец Илия вернулся в храм, чтобы помолиться о друге. Чаликов направился домой с напутствием священника заглянуть в свою душу.

Всю ночь он не мог сомкнуть глаз. Ему вспоминались те подлости и ухищрения, на которые он шел для того, чтобы на время водкой погасить муки нечистой совести: и кражи книг из библиотек; и заговаривание зубов бедным девочкам – библиотекарям; и то состояние острейшего стыда, когда Варя приглашала его, воришку, выступить перед детской аудиторией с докладом на тему: «Почему я люблю книгу?»; и, наконец, чувство, будто бы он проваливается в черную бездну, когда в одной из библиотек у него вывалился из-за пазухи тяжелый том Достоевского и с шумом упал на пол; Чаликов вспоминал, как оперативник Василий делал из него преступника вдвойне, избавляя от наказания за кражу книг, но ввергая в куда более опасное нравственное преступление – донесением на таких же бедолаг – пьяниц, каким был он сам. Вспоминал, как с каждым новым грехом росло желание опьянить себя, одурманить, чтобы унять душевную боль, иссушить капли покаянного чувства, которые выбивались из души больной, но не мертвой.

И происходило с Чаликовым то, от чего он так долго пытался укрыться, происходило естественно и глубоко – он плакал, как ребенок, навзрыд от стыда и раскаяния. Кажется, за одну только ночь из него вышло слез столько же, сколько за последние несколько лет. И под утро, когда веки его стали смежаться от усталости, на душе у Чаликова стало полегче. Засыпая, он решил, что, когда проснется, то первым делом отправится в милицию к оперативнику Василию, поговорит с ним по душам и откажется от унизительной агентурной работы; затем зайдет на рынок к Анатолию, вернет ему репродукцию «Тайной вечера», объяснит ему, как сможет, причину невыполненной работы, а там – будь что будет. Вытерпит и унижения, и побои, лишь бы совесть была цела... «Не дай Бог сорваться», – подумал Чаликов, засыпая.

Ранним утром, когда Чаликов еще спал, отец Илия Перваков поднимался по косоугору к стенам Макарьевского монастыря. Лучи восходящего солнца скользили по гладкой темно – сиреневой воде Волги и устремлялись по косоугору ввысь к белокаменным стенам мужской обители.

Архимандрита Софрония, игумена монастыря, отец Илия встретил на монастырском дворике. Одет тот был в простенькую летнюю рясу и выглядел слегка озабоченным. Отец Илия поздоровался с ним, троекратно поцеловавшись, и попросил благословения на беседу с отцом Варсонофием.

– Да что ж такое?! Всем вдруг понадобился отец Варсонофий, – добродушно проворчал игумен Софроний. – А он у нас озорничает. В детство впал. Вчерась такие высокие чины из Москвы пожаловали – режиссеры, артисты, художники, даже сам... – Он склонился к уху отца Илии и прошептал одну очень известную фамилию. – Хотел побеседовать с ним.

А этот сумасброд старый что выдумал?! Прибил над входом в свою келейку дощечку с надписью: «Ученая обезьяна. Часы приема...» и преспокойно сидит там песенки распевает. Гости из Москвы подошли, посмотрели на такую дощечку, обиделись. Кто ж захочет прорицательства от ученой обезьяны. Ушли. Хорошо, что я еще в трапезную их завернул. Ушицы из судака отдали, кагору попили. Немного отлегло. Проводил я их до пристани, возвращаюсь, а этот... прости меня, Господи, умалишенный на ворота в монастырь другую дощечку прибивает. А на ней написано: «Скотный двор». Стало быть, он – это ученая обезьяна на скотном дворе. Ну что мне с ним делать? Жаловаться? Так ему уж поди сто годков есть, грех жаловаться. Впал уж он, как видно, по милости Божией в детство... А ты, отец, благословения просишь на беседу. Поди. Поговори с ученой обезьянкой. Может быть, с тобой будет поласковее. Ну, а уж если нет, ты не обессудь.

Отец Илия, смущенный рассказом архимандрита, подходил к келье отца Варсонофия с некоторой опаской увидеть впавшего в безумие старика. Однако, не успел он постучать и произнести приветственное «Господи, помилуй», как дверь кельи распахнулась, и на пороге возник седовласый благообразный отец Варсонофий, лицо которого выражало скорее какое-то беззлобное детское озорство, нежели безумие.

– Входи, входи, милый, – увлек его за собою в келью старец. – Это я для ученых обезьянок из Москвы табличку повесил. Паломниками себя мнят, а важности больше, чем у папы римского. Знаю я, милый, зачем ты пожаловал. За друга радеешь. Это хорошо. По-христиански.

Отец Илия изумленно взглянул на старца, понимая, насколько был неправ игумен монастыря, называя его безумным.

– Новая душенька сегодня появилась на свет, омытая слезами покаяния, – продолжал старец. – Христианская жизнь начинается не с крещения и не с таинства исповеди, где все, от первого до последнего слова, можно наврать, а с таких вот ночных слезок.

– Отец Варсонофий, – растерянно проговорил Илья Перваков. – У моего друга – художника очень странная болезнь. У него перед глазами все время стоит черный квадрат...

– Эх ты, дурья твоя голова, – ласково отчитал отца Илию старец. – Нашел, чем пугаться и друга пугать. Черный квадрат. Небось, и про то, как Малевич в угол его ставил вместо иконы, рассказал? Экое неверие среди священства пошло. Бесенок хвостом вильнул, а попы за головы схватились. Конец света! Слезки ночные у друга твоего сильнее всякого «Черного квадрата» будут. Вышли у него из глаз квадратики. Не переживай. Поезжай и укрепи его в вере. И в силе покаяния, и в мудром попечении Божиим о всяком грешнике.

Отец Варсонофий благословил Первакова и проводил его до двери келейки...

...Проснувшись, Чаликов, не глядя на «Тайную вечерю», набросил на нее покрывало, перевязал бечевкой и отправился на рынок для того, чтобы вернуть картину мяснику Анатолию. Чаликов был готов ко всему: к мату, к побоям, к унижению. Однако, когда он объявился перед Анатолием с опухшими от ночных слез глазами и, передав картину, твердым голосом признался, что не смог ее обновить и пообещал вернуть Анатолию взятые авансом сто рублей, мясник, к изумлению Чаликова, не произнес ни слова. Он развернул картину, вернул покрывало Чаликову и стал заниматься разделкой мяса. Только на секунду перед глазами художника появилась «Тайная вечеря», и Чаликову показалось, будто он увидел ее целиком и без всяких помех со стороны черного квадрата. «Наверное, показалось», – подумал он, направляясь к зданию УВД и испытывая куда большее внутреннее напряжение перед беседой с оперативником, нежели это было пять минут назад перед встречей с мясником Анатолием.

В дежурной части Чаликова спросили, куда он направляется, и он ответил, что к оперативнику Василию Пригожину. Дежурный офицер позвонил по внутреннему телефону, сообщил Пригожину о Чаликове, и только после этого впустил в УВД. Поднявшись на второй этаж и ища кабинет Василия, Чаликов вдруг услышал чей-то громкий смех, доносившийся через

открытую дверь из другого кабинета, и невольно прислушавшись, вздрогнул, потому как смеялись над таким же подлецом, каким был Чаликов, над провалившимся агентом Козленок.

– Я даже не стал изобретать для него псевдоним, – вещал чей-то грубый мужской бас. – По фамилии, стало быть, и житие. Фамилия у него Козленок, стал агентом Козленком. Ха-ха-ха! Как-то раз сдал он своих подельников. Встречаются они мне через недельку всей гурьбой в центре города. Козленок изображает из себя крутого и говорит при друзьях: «У нас, видать, крыса завелась. Не успели патроны заказать к пистолету, как вы уже с обыском». И, знай себе, перед парнями крутит на блатняке да на меня с понтами наезжает. И вот представьте себе. Он у меня спрашивает при пацанах: «Кто же эта крыса?» И в эту секунду какя-то птичка небесная кап ему на голову. Видели бы вы, как покраснел мой Козленок. Беда! После этого парни его как-то вычислили, уж больно неестественно он себя вел. Почки ему отбили. В реанимации лежит. Плохой был агентиска. Никудышный. Баба с возу, кобыле легче.

В это мгновение кабинет Пригожина открылся, и Василий поманил пальцем Чаликова.

– Ты что та подслушиваешь, Рафаэль, – набросился на него оперативник. – Я разве не предупредил тебя, что в милиции появляться только в крайнем случае?

– Сегодня как раз тот случай, – пробормотал Чаликов.

– Ну, присаживайся, рассказывай, – смягчился Василий.

– Я больше не могу, – начал художник, – не могу вести двойную жизнь. Не могу и не хочу доносить на кого-то. Измучился я. Не по мне это. Хотите, судите меня за кражу книг, но агентом я больше не буду.

– Совесть замучила? – участливо спросил Пригожин.

– Да.

– Ох уж мне эти интеллигенты, – проворчал оперативник, и, вытащив из кармана бумажник, достал сто рублей и положил на стол перед Чаликовым. – Этого хватит?

– Вы меня неправильно поняли, – покраснел Сергей. – Я действительно больше не могу быть Рафаэлем.

Василий внимательно посмотрел на Чаликова, опытным взглядом уловил перемену в его лице и повадках, и, наконец, забрал сотню со стола и сунул ее обратно в бумажник.

– Что ж, неволить я тебя не могу, Сергей Иванович, – сказал Пригожин, – если ты действительно взялся за ум, Бог тебе в помощь. А если это так, временное настроение, знай, что вход у нас рубль, а выход – два. Проколешься где-нибудь, прибежишь ко мне за помощью, милости просим. Но уж тогда не обессудь. Носить тебе псевдоним Рафаэль до конца дней твоих. Понял?

Чаликов кивнул.

– Ну, а теперь иди. О нашем разговоре никому ни слова. Сергей Иванович Чаликов, свободный гражданин России.

– Спасибо, – брякнул Чаликов.

– Да иди уж, – махнул рукой Пригожин. – Не попадайся смотри!

Чаликов вернулся домой с ощущением воина, только что сразившегося с двумя драконами и победившего их. Давно не посещавший его покой вселился в душу. Тревожила только странная болезнь зрения, однако и она сегодня себя никак не проявляла. Очевидно, думал Чаликов, она заявит о себе в церкви, когда я пойду на встречу с Ильей Перваковым.

Чаликов едва дождался назначенного времени и чуть не бегом отправился к храму. Перваков уже ждал его, прохаживаясь у открытых дверей церкви. Вид у него был усталый, с дороги, однако он ласково улыбнулся другу, который, поздоровавшись, в нетерпении спросил его:

– Ну, что, Илья? Видел ли ты старца? Что он сказал тебе?

Отец Илия загадочно улыбнулся и, взяв Чаликова за руку, ввел в храм. Сергей ахнул, увидев убранство церкви во всем своем естестве.

– Старец сказал, что сегодня ночью родилась новая христианская душа, – ответил священник. – Так что, прими, дружище, мои поздравления.

Маша Луговая рассказ

В моей комнате на книжной полке в углу рядом с бумажными иконками стоит крохотный янтарный слонёнок.

Янтарь – камень тёплый. Когда берёшь изделие из него, кажется, что прикасаешься к живому теплокровному существу – застывшему в древней хвойной смоле солнечному зайчику.

Впрочем, мой янтарный слонёнок – это свидетель отнюдь не радостных событий. А произошли эти события уже более тридцати лет назад в небольшом приморском городке Светлогорске, расположенном на побережье Балтики.

Был конец сентября. Купальный сезон закончился. Холодные дожди, движимые муссонными ветрами, вымывают с побережья даже самых закалённых любителей пляжного отдыха. Остаются так называемые туземцы, то есть местные жители, а так же иностранные туристы, чаще всего из Германии, ностальгирующие по родине предков.

Когда ветер усиливается, море начинает штормить. И тогда на побережье можно встретить кустарей-одиночек нелегального промысла – янтарных старателей. Одеты в плотные рыбацкие костюмы, с огромными сачками наперевес, они неторопливо прохаживаются вдоль берега и ждут волну. Ждать большой волны приходится недолго. Когда взвинченная спираль морской громадины высотой в два человеческих роста с грохотом обрушивается на волнорезы и вырывает из-под них чёрные сгустки тины, ловцы смело бросаются в воду и резкими уверенными движениями крепких рук подхватывают их и уносят к дамбе, чтобы морская пучина не забрала добычу обратно.

Через два-три часа нелёгкой работы у дамбы вырастают тёмно-зелёные пирамидки высотой с голенище рыбацкого сапога. Тогда утомлённые старатели переводят дух, откладывают сачки в сторону и начинают аккуратно ворошить выловленную тину. Чего только не обнаружишь в этих своеобразных фильтрах морских глубин! Отшлифованные временем и солёной водой осколки разноцветных стеклянных бутылок, издали похожие на сахарные петушки; окаменевшие останки моллюсков, известные в обиходе как чёртовы пальцы; ракушки, раковины, сгнившие останки рыб, клочки оборванной рыболовной снасти и бытовые безделушки, выброшенные за борт каким-нибудь туристом или матросом с военного корабля. Но встречается в тине то главное, ради чего старатели мужественно претерпевают и холод, и дождь, и волны. Это – янтарь! Какое волшебное солнечное слово – янтарь. Застывшие слёзы сестёр Фаэтона, рождённого от бога Солнца и земной женщины, символ нежности, покоя, любви.

Янтарь бывает разных размеров и форм. Встречается плоский камень – «перстневка» – величиною с ладонь ребёнка. Реже попадаете круглый янтарь – «кругляк», – наиболее ценный на чёрном рынке. Из кругляка кустари, как правило, делают бусы. А если камень очень крупный и имеет какие-нибудь реликтовые вкрапления, вроде застывшего комара, то такому цены нет.

Во время шторма по всему побережью возбуждённо голоса чайки. Их резкие, хозяйски требовательные голоса смешиваются в крикливую какофонию – так, точно в симфоническом оркестре остались одни скрипки, и те ужасно расстроенные, – ведь люди, так похожие внешне на рыбаков, оставили после себя лишь развороченные куски грязной тины и ничего съедобного, какой ужас! Если внимательно прислушаться к этому крикливому концерту, можно отчётливо различить нотки недовольства и обиды.

В Светлогорск в тот вечер я приехал, чтобы встретиться с редактором одного местного литературно-художественного журнала и обговорить условия дальнейшего сотрудничества с ним, а заодно получить скромный гонорар за короткий рассказ на морскую тему.

Начинало темнеть, ветер усиливался. Редактора в условленном месте не было. Встретиться мы должны были на набережной около канатной дороги. Редкие прохожие, подняв воротники и кутаясь в капюшоны, торопились в уютные тёплые дома и квартиры. С окончанием купального сезона канатную дорогу закрывают. Металлическую кабинку фуникулёра приковывают замками к чугунным поручням-кнехтам, чтобы ветер не сорвал её с места и не бросил бы в море. Ветер усиливался, грозя перерасти в настоящий ураган. Кабинка со скрипом покачивалась, издавая противный жалобный стон. На мгновение я закрыл глаза и постарался сосредоточить внимание на разноголосом концерте из шума волн, свиста ветра, шелеста дождя, воплей чаек, скрипуче-органного сопровождения покачивающихся корабельных сосен. Это было похоже на симфонический оркестр, который настраивается сыграть патетическую симфонию расставания прибалтийской природы с летом.

Редактор явно не торопился на встречу, возможно, забыл о ней. Чтобы скоротать время ожидания, я решил спуститься по деревянной лестнице к морю. На мне была тёплая непромокаемая болоньевая куртка с капюшоном, поэтому ветер, дождь и брызги солёных волн мне страшны не были. Пустынный пляж уходил в свинцово-серую перспективу, проваливаясь в чёрный тоннель. Редкие уличные фонари набережной отбрасывали сверху на берег чахлый жёлтый цвет и расплывались мутными акварельными кляксами. Проходя мимо груды валунов, которыми обычно укрепляют дамбу, я обратил внимание на едва различимый на фоне тёмных камней человеческий силуэт. Странно было встретить в такую погоду у моря человека – по меньшей мере, странно. Я вгляделся в силуэт и увидел девушку... девочку... привидение...

Она была одета по-летнему: в джинсы, в кроссовки, в лёгкую ветровку. Я подошёл ближе. Незнакомка дрожала быстрой мелкой дрожью, острый подбородок и тонкие губы её посинели от холода. Из-под светлых волос проглядывало совсем ещё юное личико – личико подростка. Неподвижным взглядом она смотрела на море и что-то беззвучно шептала, была явно не в себе.

– Простите, – начал я робко, боясь каким-нибудь неосторожным словом или движением испугать девушку. Она вздрогнула и посмотрела на меня, как сквозь туман. – Как вас зовут? Что вы здесь делаете? – спросил я.

– Ничего-ничего, – ответила она судорожно, так, будто испытывала страшную физическую боль. – Ничего, ничего, – повторила она и вдруг беззвучно рассмеялась.

Незнакомка нуждалась в помощи, это было очевидно.

– Пойдёмте, я провожу вас домой, – сказал я, снимая с себя куртку и набрасывая её на девушку. – Вы где живёте?

– Там... – Она вяло махнула рукой в сторону красивого и богатого особняка, расположенного среди сосен. Я помог подняться ей, и мы пошли вверх по косогору. Точнее, шёл я, а она брела с полузакрытыми глазами, опираясь на мою руку и бормоча что-то невнятное. Она говорила, что звери лучше людей, что они никогда не лгут, не предают, не унижают. Смеясь и плача одновременно, она сообщила мне, что я её брат, что она видела меня во сне в виде большого и доброго слона, который спасал её от лесного пожара. Иными словами, несла какую-то бессвязную и прелестную чепуху.

Когда мы подошли к дому, с девушкой случилась истерика – она захныкала, как маленький ребёнок, и прижалась ко мне, будто боялась собственного дома. Хрипло залаяла собака, потом появился толстый лысоватый человек с багровым лицом, в майке, в подтяжках и милицейских штанах с лампасами. Очевидно, это был её отец. При первом же взгляде на него можно было понять, что это натура взрывная, упрямая, не терпящая никаких возражений. Не удостоив меня даже презрительным выражением лица, он грубо схватил девушку за рукав и потащил её в дом. Через мгновение в окнах второго этажа зажёгся яркий свет, и я услышал грубый мужской голос:

– Дрянь. Мало тебе позора. Хочешь клеймо на нашей фамилии поставить? До-очь! – завопил он с издёвкой. – Хороша Маша. Вместо того чтобы сидеть как мышь, из дома носу

не показывать, она шляется где-то, знакомится со всякими проходимцами! Ещё и в дом его тащишь. Погляди на себя. Едва на ногах стоишь. Что соседи подумают? Завтра весь город трещать будет...

– Боренька, – послышался робкий женский голос, очевидно, Машиной мамы. – Смягчи своё сердце. Машенька не в себе. У неё жар.

– Не жар у неё, а пожар. От стыда она горит, должно быть.

– Эх ты, медный лоб, – женщина сорвалась на крик. – Ведь ей только пятнадцать, а она такое пережила!

– Да ну вас. Эй, Машка, что это за тряпка чужая на тебе? Сымай.

Через мгновение из окна второго этажа прямо на меня спланировала моя куртка. Я затопил на вокзал, проклиная по дороге толстого грубияна в подтяжках и необязательного редактора журнала, благодаря которому я ввязался в это дурное приключение. Однако с каждой минутой жалость к пятнадцатилетней девочке, оказавшейся в плену каких-то таинственных событий, становилась острее.

Вскоре я стоял на перроне в ожидании поезда. Ветер безумствовал, пытаюсь сорвать стальные листы крыши перрона. Рядом со мной на платформе стояло несколько человек – две ярко окрашенные блондинки, от которых пахло вином и дешёвой косметикой; мрачный бородач с рюкзаком за плечами, вероятно, один из чёрных копателей янтаря; трое молодых курсантов морского училища, возвращавшихся, скорее всего, из самоволки в казармы.

Двери электрички с лязгом отворились. Пассажиры стали устраиваться в вагоне. Я уже поставил ногу на железный приступ тамбура, как вдруг услышал, что меня окрикает какая-то женщина. Она почти бежала со стороны тупика, размахивала руками, и просила меня подождать её. Щёки у неё пылали от быстрого бега, она была одета в домашний халат и, ухватив меня за куртку, произнесла, задыхаясь:

– Я узнала вас по курточке... Прошу вас, извините... Я мама Маши Луговой. Благодарю вас за неё. Думала, что сегодня уже не увижу её, мою девочку. Она и записку эту дурацкую написала, глупышка. Решила заболеть воспалением лёгких и умереть. Глупенькая. Хорошо, что вы там оказались. Вас бог послал. А на отца её вы, пожалуйста, не сердитесь. Он безумно любит её, безумно. Извёлся. Сам не свой. У него свои понятия о приличиях. А то, что он взрывной такой, так это после контузии на Северном Кавказе...

Я смотрел на эту убитую горем женщину, слушал её, автоматически кивал головой и никак не мог отделаться от ощущения, что я не знаю самого главного – того, что же случилось с её дочерью... а со мной говорят так, будто я являюсь главным действующим лицом и всё знаю.

Просигналила электричка, предупреждая о скором отправлении. Женщина испуганно вздрогнула, точно очнувшись от чего-то, и вытащила из кармана халата ту самую крохотную янтарную фигурку слонёнка, которая теперь хранится у меня рядом с иконками.

– Маша просила непременно передать вам это, – прошептала она, протягивая мне игрушку. – Непременно, вы слышите? Именно этого янтарного слоника. Я и одеться-то не успела, боялась опоздать. Машенька сказала, что это важно. На память о ней. Я ей верю. Я ей очень верю. Она сказала, что вы неравнодушный человек. Если б не вы... О, боже! Я даже не хочу думать о том, что могло бы случиться! – воскликнула она.

В это мгновение электричка просигналила ещё раз.

– Мне пора, – сказал я, входя в тамбур.

– Ой, – вдруг засуетилась женщина. – Вы же ничего про Машеньку не знаете! Главное.

Электропоезд издал последний предупредительный сигнал, цвет семафора сменился с красного на зелёный.

– Говорите быстрее, – прокричал я, пытаюсь рукой удержать закрывающиеся двери. – У неё что-то с нервами? Она больна?

На меня молча уставились огромные, недоуменные, полные невыразимой скорби глаза матери.

– Больна? – словно не в себе повторила она. – Это Машенька больна? Да она ангел, понимаете, ангел.

Её лицо перекосило как от боли.

– Вы ничего не знаете, – строгим голосом сказала она и горько усмехнулась. – Ну конечно, откуда вам знать? Месяц назад на пляже трое пьяных подонков затащили её в машину, отвезли к городскому кладбищу и там...

Внезапный порыв ветра унёс окончание фразы, но я, разумеется, всё понял.

Поезд тронулся. Я стоял в тамбуре и сквозь забрызганное дождём окно смотрел, как от меня удаляется женщина в домашнем халате с поднятыми кверху в немой мольбе руками. Под стук колёс она становилась всё меньше и меньше, потом превратилась в точку и вовсе исчезла. А перед моим мысленным взором всё ещё стояли огромные материнские глаза, полные недоумения и невыразимой скорби. «Больна? Это Машенька больна? Да она ангел. Вы понимаете, ангел».

Всю дорогу я простоял в тамбуре, задумчиво разглядывая крохотную детскую игрушку, подарок незнакомой девочки. Не знаю, почему, но вся та неосознанная моя причастность ко всему, что случилось в семье Луговых, выразилось в одном коротком вздохе – Господи, сохрани и помилуй. Действительно, все мы каким-то таинственным невидимым образом связаны между собою. И в страданиях другого человека, нашего близкого, всегда немного виноваты мы сами. Трудно это объяснить понятными словами. Это надо почувствовать.

Одна из десяти жизней рассказ

В церкви Спаса на улице Невского народу было немного в первый день Великого поста. Батюшка Серафим, молодой ясноглазый священник с румяным лицом, тихим голосом читал покаянный канон Андрея Критского. В церкви было темно, пахло свечами и ладаном. Жилину, который пришел в храм впервые за много лет, что-то мешало настроиться на печальный тон службы, и это что-то было связано с боковым зрением, которое улавливало в церкви неясный темный предмет, действующий на него какой-то смутной тревогой. Этот темный предмет находился где-то поблизости, и Жилин никак не мог сконцентрировать свои мысли на тот покаянный лад, который и привел его сегодня на окраину города в церковь. Он не понимал ничего из того, что тихо начитывал батюшка, однако чувствовал, что это очень близко его собственному настроению.

Поняв, что ему нужно выяснить причину беспокойства, он начал осторожно оглядываться по сторонам, скользя глазами по редко стоящим фигурам верующих, и неожиданно вздрогнул, увидев знакомую фигуру Старцева, бывшего уголовника, которого несколько лет назад Жилин, работавший тогда опером уголовного розыска, дважды привлекал к суду, и оба раза приговор был связан с лишением свободы. «Вот еще Бог привел... как бы не встретиться, – подумал Жилин. – А он-то здесь зачем?»

Старцев стоял в нескольких шагах от него, был одет в черный кожаный плащ и, слушая покаянный канон, склонялся в поклонах и крестился в те моменты, когда это же делали другие прихожане. Боковое зрение, очевидно, уловило знакомую фигуру в черном, и, родившаяся поначалу тревога, сменилась любопытством. Жилин никак не мог ожидать увидеть Старцева молящимся в церкви, и, судя по тому, как он вел себя здесь, казалось, что он делает это осмысленно. «Но почему здесь, в Калининграде, а не в родном Пионерске? – подумал Жилин. – И почему именно сегодня, когда и мне захотелось прийти в храм?» В этом совпадении была какая-то тайна.

Жилин не мог спокойно стоять в церкви, и, торопливо перекрестившись, вышел на оживленную и прохладную после дождя улицу и направился в бар «Белый аист», расположенный около музея янтаря. В баре было приятное приглушенное освещение; из колонок лился соответствующий погоде меланхолический джаз; несколько молодых спекулянтов, которые весь день провели около музея в поисках иностранцев, желавших купить на сувениры изделия из янтаря, отдыхали в баре за чашками крепкого кофе. Обстановка питейного заведения была ближе ему по духу, чем церковь.

Жилин заказал официанту двести граммов коньяка и сел за угловой столик, скрытый от посторонних глаз плотной тенью широкого абажура, и мысли его постепенно перенеслись в прошлое, связанное со Старцевым, который тогда носил прозвище Старый... Это было десять лет назад. Судьба переплела их линии жизни довольно тесно. Жилин тогда был на взлете своей милицейской карьеры в стране начинался бардак... Каждый мелкий милицейский чин, особенно из службы уголовного розыска, был на своем участке, что называется, и царь, и бог. И капитан милиции Жилин Игорь Леонидович в то время мало считался с людьми; он был виртуозным опером с собачьим нюхом на преступников и человеком, лишенным морали. Раскрывая преступления, он получал не только удовлетворение охотника, подстрелившего дичь, но и денежные подачки от руководства, называемые премиальными, а также дополнительный нелегальный заработок, о котором хотя и догадывалось начальство, но всегда закрывало глаза, потому что время в стране было смутное, мало кто что понимал; деньги носились в воздухе словно стаи диких птиц, и если кому-то из младших чинов удавалось расставить ловушки

и слегка подкормиться, старшим чинам, которые получали свой куш несколько более цивилизованным способом (скажем, через спонсорскую помощь), было лень заниматься нравственным обликом своих сотрудников. Лишь бы работа шла: преступления помельче раскрывались бы, а преступники попроще сидели б в тюрьме. Тогда и не стыдно будет в глаза смотреть кому-нибудь из министерских.

Последний раз Жилин посадил Старого за хранение наркотиков. Операцию разрабатывали заранее; выломали дверь в квартире и застали Старцева со шприцем в руке. Он не успел уколиться и вылил содержимое шприца на пол, однако эксперт – криминалист аккуратно собрал героиновую лужицу в ватный тампон, а опытный опер Жилин для надежности подобрал ему в карман пакетик с героином. Старцева посадили, и он так и не узнал о том, что, если бы не внезапное вторжение Жилина в его квартиру, то его ожидала бы страшная, мучительная смерть, потому что эксперт обнаружил в собранной с пола героиновой лужице не только наркотик, но и крысиный яд. Получалось, что Жилин опосредованно спас жизнь своему «классовому врагу».

«А он-то не знает этого», – с грустной улыбкой подумал Жилин, немного хмелея от коньяка и от меланхолической музыки джаза. – Это было давно, и прошло не десять лет, а десять жизней. Теперь я – бывший опер, он – бывший зэк. Жизнь расставила все по своим местам... Это ж надо! – Вновь удивился он. – Встретиться через десять лет в полумиллионном городе да еще и в храме, расположенном в пятидесяти километрах от Пионерска, в областном центре, в котором пятнадцать православных церквей?! Чудеса».

Жилин выпил еще коньяка и не захотел углубляться в неприятные воспоминания о том, как после отправки Старого в следственный изолятор, он стал настойчиво и дерзко ухаживать за его женой, как с помощью нехитрых оперативных приемчиков ему удалось уложить ее в постель, а впоследствии завербовать и превратить в агента Лисицину; как он вписывал в ее послужной список добытых им из других источников сведения о преступниках, как получал на агента Лисицину хорошие деньги, якобы, на оперативную разработку ее друзей; как прогуливал эти деньги с любовницей в кабаке на глазах у всего честного народа...

Карьера обернулась для Жилина нравственным падением, крушением всех его надежд, увольнением со службы, длительным и мрачным запоем, тоской и одиночеством, из которых ему помогла выбраться случайно встреченная на улице одноклассница, ставшая в последствии его женой. Именно она, Наталья, несколько лет назад привела его в церковь Спаса, познакомилась с батюшкой Серафимом, который исповедал его и причастил. Тогда тоже был Великий Пост и так же торжественно и печально текла церковная служба и звучал покаянный канон. «Как музыка и освещение в этом баре», – почему-то подумал захмелевший Жилин, закуривая и подзывая к себе официанта для того, чтобы заказать еще коньяка.

– Скажите, у вас всегда играет джаз? – спросил Жилин. – Или только сегодня?

– В зависимости от погоды на улице, – ответил вышколенный официант. – Сегодня все утро лил дождь.

– Да, дождь, – задумчиво повторил Жилин. – И в церкви сейчас идет служба, похожая на дождь... то есть джаз, – поправился он. – Вы не беспокойтесь. Я не буйный. Тихо выпью и тихо уйду. Я вообще тихий как дождь.

Официант улыбнулся и пошел выполнять заказ.

Выпив еще рюмку, Жилин почувствовал, что на душе у него становится так же уютно, как в этом баре. «Все-таки любопытно устроена жизнь», – подумал он, поглядывая на веселых молодых посетителей, о чем-то оживленно беседующих друг с другом. – «Сам того не желая, спас от смерти Старцева, а он так никогда и не узнает об этом. Наверное, до сих пор ненавидит меня, хотя прошло уже не десять лет, а десять жизней».

В бар вошел еще один посетитель, и Жилин на мгновение испытал точно такое же чувство, что было в церкви. Одно мгновение – и все прошло. Посетителем оказался Старцев.

«Что же это такое?» – подумал Жилин. – «Как будто преследует меня. Или уж какая-то высшая сила сталкивает нас лицом к лицу?»

Впрочем, теперь Жилин как будто бы сам желал этой встречи; десять прожитых жизней и триста граммов коньяка усадили его сердце в глубокую лунку спокойствия. С улыбкой провидца он ждал, когда Старцев закажет коньяк, – он почему-то был в этом уверен, – и сядет именно за его столик, хотя кругом было полно свободных мест.

Старцев действительно взял коньяк и, осмотрев зал, направился в дальний темный угол к столику, за которым его уже ждал Жилин.

– У Вас свободно? – вежливо осведомился Старцев, не вглядываясь в лицо сидящего в тени абажура человека.

– Присаживайся, Андрей Евгеньевич, – ответил Жилин и с улыбкой посмотрел на Старого.

Небольшое замешательство мелькнуло в ответном взгляде Старцева, однако он без труда совладал с собой и сел напротив.

– Встреча неожиданная, – признался он. – Хотя совсем недавно я вспоминал тебя.

– Вспоминал? Представляю, в каких выражениях.

Старцев смутился и долго не отвечал. Затем залпом выпил подряд две рюмки коньяка, как-то странно усмехнулся и пробормотал:

– Не то, Игорь Леонидович, не то... Выражения остались в прошлой жизни.

– А что в нынешней? – спросил Жилин.

– В нынешней я каждую весну ставлю свечу за твое здоровье.

– Что-о??? – Жилин чуть не подпрыгнул на стуле, думая, что Старцев не так прост, как это показалось в первую секунду встречи и что, играя словами, он готовит какой-то хитрый подвох.

– Объяснись. Я не понял.

– Ты не против, если я угощу тебя выпивкой? – миролюбиво предложил Андрей Евгеньевич и, заметив настороженность во взгляде бывшего опера, добавил: – Вчера у меня состоялась неплохая сделка с немецкими партнерами. Есть повод.

Жилин продолжал недоверчиво смотреть на него.

– Уже два года, как я возглавляю салон по продаже европейских автомобилей. Бизнес легальный, – спокойно пояснил Старцев. – После лагеря в моей жизни многое изменилось.

– Как и в моей, после увольнения из органов.

– Я знаю.

– Знаешь? – удивился Жилин.

– Знаю, что сейчас ты работаешь охранником в банке. А до этого с работой были проблемы. Одно время ты даже подрабатывал курьером в фирме «Урга», нелегально переправлял крупные суммы денег в Москву и в Питер.

Жилин пристально взгляделся в лицо собеседника.

– Откуда известны такие подробности? – спросил он.

– Позволь мне не отвечать на этот вопрос... Так я угощу выпивкой?

– Что ж, угости.

Настороженность Жилина не проходила, однако в поведении Старцева была какая-то простодушная легкость, и это, вкуче с выпитым коньяком и джазом, подействовало на бывшего опера расслабляющее.

Вскоре на столе появилась бутылка «Белого аиста» и две порции дымящегося жаркого из кусочков молодой телятины. Жилину не терпелось узнать, с какой стати каждую весну Старцев ставит свечу за его здоровье.

– Дело в том, – начал Старцев, разливая по рюмкам коньяк, – что, когда я находился в лагере, от друзей с воли пришла... – Он на секунду замешкался, ища замену слову «малява»,

стараясь избегать блатного жаргона, который за пять лет лагерей въелся в него как ржавчина. – Одна телеграммка. В том героине, который я хотел пустить по венам, когда ты вломился в квартиру, самого героина почти что не было. Вспомни, это было десять лет назад! Там был крысиний яд, от которого я помер бы в страшных муках. Махмуд, который поставлял мне этот героин, получил заказ от Скобы, Скобеля, ныне покойного, избавиться от меня каким-нибудь нехитрым способом. Скоба в то время имел на меня зуб. И тут вдруг ты со своими архаровцами. Появись ты на минуту позже, мы бы не сидели сейчас в этом баре и не вели бы задушевных бесед. Я б уже давно жарился в аду на сковородках. Уж не знаю точно, для чего Господь сподобил оставить меня в живых, но тебя в тот день направил ко мне ангел – хранитель. Я рассказывал эту историю отцу Серафиму весной, когда меня освободили. Он ответил, что пути Господни неисповедимы, но все они ведут ко спасению.

Жилин слушал Старцева и не верил своим ушам. Бывший уголовник по прозвищу Старый и в самом деле остался там, в одной из прошлых десяти жизней. Перед ним сидел совсем другой, незнакомый ему человек, которому хотелось верить. Внутри Жилина закипало желание ответить Старцеву откровенностью на откровенность, однако его откровенность была связана с неприятными воспоминаниями, которые сидели в его душе саднящей занозой. И все-таки Жилин решился вытащить эту занозу.

– Послушай, Андрей, ты ведь знаешь о том, что тебя посадили за подброшенный героин?

– Знаю.

– Ты также, наверняка, знаешь о том, что после того, как тебя закрыли в СИЗО, я... – Жилин осекся, не зная, какими словами признаться Старцеву в любовных связях с его женой. Однако, Старцев сам пришел не выручку.

– Знаю, – сказал он, хмурясь. – Я, брат, все знаю. Освободившись, я женился во второй раз. У Ленки и до тебя было много любовников. Эфедрон отравил ей жизнь. У нее родилась девочка, а она не знала, кто отец. По срокам ни я, ни ты не подходили.

– Ты ненавидел меня? – простодушно спросил бывший опер.

– Да. – Так же простодушно ответил бывший зэк. – Когда сидел в следственном изоляторе и читал записочки с воли. Но когда узнал, что она снова подседа на иглу и путается с каждым, кто купит ей эту дозу, моя ненависть перекинулась на нее. Впрочем, ненадолго, – с грустью добавил Старцев. – Ленка умерла от передозировки. Ты не знал?

Жилин отрицательно покачал головой, чувствуя и себя косвенно виноватым в ее смерти.

– С тех пор у меня прошло десять жизней, – тихо сказал он.

– У меня тоже, – ответил Старцев. – Давай помянем грешную душу.

– Давай.

...Они разговаривали, сидя в этом баре, до глубокого вечера. Две грешные души, ищущие покаяния. Они вспоминали одну из десяти жизней, которая развела их по разные стороны баррикад и которая их же соединила. И с каждым выпотрошенным до костей воспоминанием, понимали, что корневой системой их тогдашней жизни были цинизм и нравственное падение. В те годы они дышали одним и тем же отравленным вирусом легкой наживы воздухом, и по сути мало чем отличались друг от друга: уголовник и офицер милиции. Оба были дерзки, безответственны, падки на деньги, оба накручивали «штрафные круги», в которых не было понятия греха или совести.

Когда бармен сообщил, что заведение закрывается, мужчины встали, и, чувствуя, что этот разговор выветрил из них хмель подобно холодному пронизывающему ветру, вышли на улицу, и, попрощавшись, разошлись в разные стороны.

Уже смеркалось. На площади, рядом с музеем янтаря, зажглись фонари, и город приобрел те резкие очертания ночной таинственности, что делали его похожим на мрачные декорации города – крепости эпохи тевтонских рыцарей – крестоносцев.

Жилин шел по каштановой аллее вдоль озера Тельмана, и в ушах у него звучали слова отца Серафима, переданные Старцевым: «Пути Господни неисповедимы, но все они ведут ко спасению». «Да, – вздыхал пораженный сегодняшней встречей Жилин. – Верно говорят, что в жизни ничего не бывает случайного. Все имеет таинственный, скрытый от наших подслеповатых глаз смысл».

Старцев пересек площадь, позвонил по сотовому телефону супруге, попросил подъехать за ним на машине; потом закурил и, вспоминая разговор с Жилиным, подумал: «Хорошо, что я не рассказал ему о том, что поведал той весной на исповеди отцу Серафиму. О том, как не мог поначалу спать от ненависти к менту, незаконно упекшему меня за решетку; о том, как в следственном изоляторе вынашивал и смаковал будущую месть. О том, как в первый же день на воле „пробил“ по своим каналам место работы Жилина; узнал, что два раза в месяц он переводит крупные суммы наличных денег; сколотил бригаду из прежних дружков; устроил за курьером „Урги“ непрерывную слежку. О том, как решил влезть без билета в поезд, в котором будет ехать Жилин, зайти с дружками в его купе и перерезать ему горло финским ножом, забрать деньги, нажать на стоп – кран и уйти с наживой, удовлетворенным местью». О том, как в самый последний момент он увидел на перроне мать Жилина, старушку с обеспокоенным взглядом, которая пришла проводить сына. Увидел, как она, едва сдерживая слезы, крестит его и шепчет какие-то напутственные слова или молитву ангелу – хранителю... А потом вдруг на мгновение все озарилось каким-то ярким неестественным светом, будто над головой старушки разом сошлись десятки бесшумных молний. И ему вдруг показалось, что на месте матери Жилина стоит его собственная мать, такая же обеспокоенная судьбой сына старушка. Это было какое-то кратковременное ослепление, потому что, приглядевшись, он снова увидел мать Жилина. Но этого странного явления было достаточно для того, чтобы он, Старцев, молча развернул своих друзей, готовых запрыгнуть следом за ним в поезд, и, не говоря им ни слова, увез их обратно в Пионерск.

Не рассказал Старый и о том, как после этого странного явления его мучили по ночам кошмары. Мерещилось, будто он оказывается в аду, и какие-то больные желтолицые карлики с шумным и мрачным хохотом перетаскивают его из одной черной комнаты в другую, и во всех этих комнатах гогочут такие же страшные безумные уродцы. Не стал признаваться бывшему оперу, как впервые в жизни решился пойти в церковь, и выбрал для этого специально отдаленный от Пионерска Спасский храм, чтобы не показываться в церкви родного города. О том, как после беседы с отцом Серафимом, священник задумчиво произнес: «Уберег тебя Господь от страшного греха, посла ангела – хранителя в лице той старушки».

Блошиная редакция рассказ

В начале 90-х, когда весь жизненный уклад в России подвергся злой и мало кому понятной реформации, попросту говоря, все полетело в тар-тарары, Иван Хмельнин оказался без работы в родном Нижнем Новгороде и шатался по городу, разглядывая на столбах броские листочки с манящими предложениями стабильного и высокого заработка. Опыт столкновения с мошенниками – работодателями у Ивана Сергеевича был, а потому, внимательно вчитываясь в текст объявлений, он старался заглянуть между строк, туда, где могла всплыть обратная сторона манящей рекламы. Так и не найдя на уличных столбах ничего достойного внимания, он купил в киоске газету и вдруг увидел на первой полосе шикарную рекламу вновь организованного в городе печатного издания под названием «НЭП» (новая экономическая политика). Судя по концепции, изложенной в виде сжатых тезисов, новая газета была в чистом виде коммерческим предприятием. Срочно требовались журналисты, агенты, а также заместитель редактора по размещению реклам.

Зарплаты обещались умопомрачительные. Хмельнин задумался. «Кажется, мои способности красиво излагать свои мысли не пропадут даром», – мелькнуло у него в голове. – «Да и голод, как верно заметил народ, совсем не тетка».

Утром следующего дня аккуратно выбритый, в белоснежной, накрахмаленной до хруста рубашке и черном галстуке, с кожаным кейсом в руке, он отправился по указанному адресу. Редакция располагалась в переулке Кожевенном, в центре города, рядом с Кремлем, и уже одно это обстоятельство вызывало доверие к «НЭПу». Хмельнин без труда отыскал нужный дом, – это было старинное купеческое здание из красно – бурого кирпича, – и в недоумении пред ним остановился, не находя предполагаемой солидной вывески редакции газеты. Заметив вышедшую из подъезда старушку, он окликнул ее и, извинившись, поинтересовался, не знает ли она, где находится редакция новой газеты «НЭП»? Немного подумав, та ответила, что видела, как на днях какие-то прилично одетые молодые люди заносили оборудование в цокольное помещение дома, и что, вероятно, там и находится редакция газеты.

Воспрянув духом, Хмельнин вошел в сырой, пропахший плесенью и кошачьими испражнениями подъезд старого, давно не ремонтировавшегося дома. Над дверью, ведущей в полуподвальный этаж, висела бумажка, на которой бледными компьютерными буквами было выведено: «Редакция газеты «НЭП». Хмельнин озадаченно поглядел на дверь, недоумевая, как в таком обшарпанном помещении может находиться тот райский уголок новой экономической политики, где обещались сумасшедшие по тем временам зарплаты, но прогнал от себя сомнения и уверенно распахнул дверь в новый экономический мир. В нос ударило запахом сырости и мышатины. Хмельнин оказался в полутьме крутой лестницы с выщербленными ступеньками, ведущими в мрачный полуподвал. Не задавая себе лишних вопросов и думая только о цифрах с большим количеством нулей предлагаемого заработка, Иван Сергеевич спустился вниз.

Редакция размещалась в просторной комнате, дневной свет в которую проникал сквозь нижнюю половину пыльного зарешеченного окна. В комнате находилось несколько столов с компьютерами, за которыми сидели молодые женщины и, очевидно, занимались своей работой. Главный редактор должен был подойти с минуты на минуту, и Хмельнина попросили подождать в большом мягком кожаном кресле, предназначенном, вероятно, для гостей и клиентов. Хмельнин осмотрел помещение редакции. Черные прокопченные потолки с обвалившейся кое-где штукатуркой; грубо окрашенные в темно-зеленую краску стены; большие бородастые паутины с засохшими насекомыми; тусклый свет, пытающийся пробить с улицы сквозь запыленное окно, – все это наводило гостя на не слишком благодушные мысли. Почти сразу Хмель-

нин обратил особенное внимание на две очень странные вещи. В редакции, в которой работали одни женщины, причем весьма молодые и миловидные, стоял удушливый запах «Тройного» одеколona. Запах был до того едкий, что, казалось, будто ведрами этого одеколona тут каждое утро моют полы. Второй вещью, бросающейся в глаза своей странностью, было то, что все женщины, несмотря на жаркий июль и духоту в редакции, были одеты в плотные, обтягивающие джинсы и кроссовки, точно они были не журналистками, а игроками одой женской футбольной команды. Лица у всех были сосредоточенными, а тонкие пальчики ловко бегали по клавиатурам, – значит, работа кипела. Это несколько взбудрило Хмельнина. Взбудрила его также и шуточная надпись на листке бумаги, висящем над пустующим креслом главного редактора: «Споры за работой мешают работе спориться».

Вскоре Хмельнин начал понимать причину двух странностей редакции «НЭПа». Минут через пять сидения в кресле он вдруг почувствовал, что у него подозрительно чешутся ноги. Первой его мыслью было то, что от едкого запаха одеколona у него началась аллергия, однако вскоре он почувствовал, что его кто-то покусывает.

Заметив, что гость, краснея от стыда, лезет рукой чесать правую голень, одна из женщин, сидевшая к нему поближе, доверительно шепнула:

– Не волнуйтесь, пожалуйста. Это блохи. Раньше тут был мучной склад, потом – скорняжная мастерская, а чуть позже – мясная коптильня. Мы въехали сюда неделю назад. Все пришли нарядные, в платьях, юбочках. Потом пришлось принимать меры. Брызжем на пол «Тройной» одеколон, а сами, видите, в чем ходим? Неудобно, зато блохи не достают.

Хмельнин сконфуженно молчал.

– Мы тут временно, – ласково прибавила женщина. – Заработаем денег и снимем офис в каком-нибудь более приличном месте. А Вы кто? Журналист?

– Да. Только стаж у меня небольшой. Немного работал в молодежной газете, пока она не обанкротилась.

– У нас специфика другая, – покровительственно призналась дама. – Придет шеф и все Вам расскажет. У нас главное – хорошо расхвалить клиента и его товар. Сами понимаете, НЭП.

Хмельнин не очень понимал, на что намекала миловидная дамочка, употребляя выражение «хорошо расхвалить клиента». И предпочел отмолчаться, дождавшись главного. Тот появился в редакции лишь через полчаса, показавшиеся Ивану Сергеевичу вечностью. За это время кровожадные насекомые, которые, как ему казалось, человечинной не питаются, так безжалостно искусили его ноги, что они до колен гудели точно обожженные крапивой.

Редактор, маленький шустрый лысовичок в очках, влетел в блошинный офис, потрясая перед собой какими-то бумажками. Радость и возбуждение были написаны на его круглом, гладко выбритом лице с длинным стреловидным носом.

– Новый заказ, коллеги! – победоносно воскликнул он и, заметив постороннего, быстро спросил: – Вы кто? Журналист?

Хмельнин кивнул.

– Прекрасно, – произнес он, впиваясь в гостя взглядом, кусающим подобно блохе. – Стажа нет? Прекрасно. Значит, переучивать не придется. Ох уж мне эти заслуженные члены союзов! С ними хлопот невпроворот. У нас, молодой человек, газета необычная, – пояснил он. – Сугубо коммерческая. Кто хорошо работает, тот хорошо ест. Вы в детстве любили фантазировать? – обратился он вдруг к Хмельнину с неожиданным вопросом, и, не дав ему опомниться, продолжал так, будто успел заглянуть в его душу и понять, что в детстве Иван Сергеевич был большим фантазером. – Значит, сработаемся. У нас все построено на умении фантазировать. Знаете, что такое пиар? – неожиданно спросил редактор.

Хмельнин пожал плечами.

– Это новейшее направление в журналистике. Ври как можно больше и красочнее, но ври правдоподобно. Это, брат, особый талант. Можно сказать, писательский, литературный.

Он открыл сейф, небрежно бросил туда бумаги, закрыл его и сел за свой стол.

– Итак, друзья, минуту внимания! – торжественно произнес главный и взглянул на женщин поверх очков. – Только что я встречался с бывшим директором рынка Чахвадзе и получил от него заказ на раскрутку колбасы. Его сын зарегистрировал в нашем городе колбасный цех, но пока продукцию еще не выпускает. Полуфабрикат берут в Польше, доводят его до ума и продают его здесь под своим брендом. Явление это временное. Чахвадзе нужен мощный пиар, толчок, мотор. Колбаса копченая. Называется «Пальчики откусишь». Кто возьмется написать статью?

Женщины, как одна, дружно опустили головы и принялись яростно стучать по клавишам компьютеров. Взгляд редактора прошелся по столам сотрудниц лучом сторожевого прожектора и, не найдя добровольца, остановился на Иване Сергеевиче.

– Что ж, молодой человек, Вам повезло, – расплылся в улыбке главный. – Пусть это будет Ваше боевое крещение. Вас как величают?

– Иван.

– Прекрасное имя! – воскликнул редактор. – В этом имени слышится рокот космодрома. Прекрасно, – повторил он. – Через два часа жду от вас черновой вариант пиар – публикации на тему колбасы Чахвадзе «Пальчики откусишь». Статья должна быть легкой, ненавязчивой, но бьющей в самое сердце. Фамилию Чахвадзе в статье не упоминать. Колбаса производится из отечественной свинины, говядины и копченого сала, с примесью ароматных мексиканских специй. Можете сесть пока за мой стол.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.